

Новая книга:

Е.Н. Панов. ПАРАДОКС НЕПРЕРЫВНОСТИ: ЯЗЫКОВОЙ РУБИКОН.

О непреодолимой пропасти между коммуникацией у животных и языком человека.

(готовится к печати)

Введение

Единственный значительный барьер между животным и человеком – это *Язык*. Человек говорит, но ни одно животное никогда не вымолвило ни слова. Язык – это Рубикон, и ни одно животное не осмелится его перейти.

М. Мюллер (Müller, 1891:490. курсив автора цитаты)

Владение речью и способность с ее помощью обмениваться мыслями – это уникальные свойства человека разумного как биологического вида. Наверное, в истории человечества ни один крупный мыслитель не обошел вниманием вопрос о том, откуда и каким образом пришло к людям это умение выражать свои мысли в звуках речи. Если оставить в стороне библейскую легенду о языке как божественном даре и подобные ей в других религиях мира, можно насчитать как минимум 6 разных гипотез происхождения языка, высказанных философами эпохи Просвещения и Нового Времени.

Коль скоро ни одна из них не казалась достаточно убедительной, к середине XIX века в научном сообществе сложилось представление, согласно которому проблема остается неразрешимой в принципе. Отсюда решение Французской академии, принятое в 1866 году, не рассматривать впредь работы по происхождению языка, если таковые будут представлены на ее суд. Казалось бы, попытки решения вопроса должны быть оставлены навсегда.

Однако примерно 100 лет спустя ситуация начала быстро меняться, причем на этот раз инициатива исходила не от философов и лингвистов, как прежде, а от исследователей поведения животных. Я полагаю, что первым шагом в возрождении интереса к проблеме послужили сенсационные результаты исследований образа жизни шимпанзе, полученные Джейн Гудолл в Танзании, в заповеднике Гомбе-Стрим. Наиболее неожиданным для этологов оказалась открытая ею способность шимпанзе к регулярному целесообразному использованию предметов из своего окружения в качестве орудий для добывания пищи и в некоторых других целях. В своей книге «В тени человека» она писала: «Человек достиг неизмеримых высот в своем эволюционном развитии: он превзошел шимпанзе, отеснил его на второй план. Однако значение шимпанзе для понимания эволюции человека трудно переоценить. Человек затмил шимпанзе своим интеллектом; но в такой же мере можно

сказать, что шимпанзе затмевает остальных животных своим умением решать довольно трудные задачи, *использовать орудия в разнообразных целях и даже изготавливать их...*» (курсив мой – Е.П.).

Данные, полученные Джейн Гудолл¹, послужили толчком к созданию в ряде научных центров США и Европы «полуодомашненных» популяций шимпанзе. В этих условиях стало возможным не только фиксировать естественные проявления психических и поведенческих особенностей этих наших ближайших родичей из мира животных, но и экспериментировать с ними. Для многих стало очевидным, что эти исследования имеют не только узкий зоологический интерес. Ученые почувствовали, что появилось еще одно окошечко, глядя через которое можно лучше понять, как именно могло происходить становление языка на заре эволюции человека.

Среди первых, кому эта идея стала наиболее близка, оказались психологи, супруги Беатриса и Аллен Гарднеры. Уже в середине 1960-х годов они положили начало опытам по обучению шимпанзе так называемым языкам-посредникам. В 1969 г. в журнале «Science» появилась их статья «Обучение шимпанзе языку знаков». В ней утверждалось, что шимпанзе по имени Уошо оказалась способной тем или иным образом использовать жестовые знаки-символы в качестве средства общения с экспериментатором.

Тремя годами позже были опубликованы результаты другого исследования того же плана, выполненные, однако, по другой методике. В статье «Обучение человекообразной обезьяны языку» описаны эксперименты, в которых шимпанзе Сару обучали составлять «фразы» (порой достаточно длинные), выкладывая в ряд пластмассовые фигурки разной формы. Каждая из них отвечала одному-единственному слову (Premack, Premack, 1972).

На протяжении 1970-х и 1980-х годов метод, предложенный Гарднерами (с теми или иными модификациями), они сами и ряд других исследователей из разных приматологических центров многократно применяли в отношении отдельных особей шимпанзе, а также целых их групп. Испытуемыми стали также другие виды крупных человекообразных обезьян – горилла и орангутан (подробный обзор этих исследований можно найти в книге Ю. Линдена «Обезьяны, человек и язык» (Линден, 1981).

Следует сказать, что экспериментаторам не удалось придти к единству мнений как относительно адекватности применяемых методов², так и в вопросе о «языковых

¹ Позже Джейн Гудолл в качестве консультанта принимала участие в одном из «обезьяньих проектов», о которых речь пойдет ниже.

² Супруги Гарднеры в одной из своих статей резко критиковали метод Д. Примака, указывая при этом, что успехи Сары нельзя рассматривать в качестве показателя ее лингвистического развития. Полученные Примаком результаты лишь демонстрируют высокую способность шимпанзе к автоматическому заучиванию рядов определенных зрительных стимулов. По мнению Гарднеров, в данном случае перед нами умелая и

способностях» шимпанзе. Этот вопрос в то время состоял в том, понимают ли «говорящие» шимпанзе, что именно они делают, и не являются ли их лингвистические упражнения простым подражанием поведению их воспитателей, усвоенному обезьянами наподобие так называемых инструментальных условных рефлексов. Как писал профессор Колумбийского университета Герберт Террейс, работавший с шимпанзе, которого он в шутку назвал Ним Чимпский³, «беда в том, что смысл увиденного понят человеком, а он приписывает эту способность обезьяне».

Все эти события, первоначально ограниченные сравнительно узким кругом приматологов этологической направленности и психологов, должны были рано или поздно привлечь к себе внимание профессиональных лингвистов. Позиция многих из них сводилась к следующему. Какова, собственно, структура языка, которому обучали шимпанзе, и вообще, язык ли это в строгом смысле слова? Обучая шимпанзе жестовому языку (так называемому Американскому языку знаков, АЯЖ), имеющему весьма специфическую грамматику, совсем не похожую на грамматику английского языка, исследователи анализировали полученные результаты, обращаясь к английской грамматике. В этом смысле язык, преподаваемый обезьянам, не был ни языком глухих, ни тем более английским языком. В лучшем случае это своего рода пиджин, свойства которого не были вполне поняты самими «преподавателями». В любом случае, как неоднократно подчеркивали и сами Гарднеры, жестовая сигнализация их питомцев весьма далека от настоящего языка знаков, используемого глухонемыми, – это своего рода «жестовый лепет», очень похожий на тот первичный, еще неразвитый язык, которым пользуются двухлетние глухие дети. К числу скептиков принадлежал, в частности, и выдающийся знаток языка глухих В. Стоко.

К решению вопроса о том, каково же здесь истинное положение вещей, научное сообщество существенно продвинулось несколько позже, благодаря блестящим экспериментам с обыкновенными и карликовыми шимпанзе, которые были проведены в 1980-х - 1990-х годах Сью Севидж-Рамбо и ее коллегами (Savage-Rumbaugh, 1984, 1990; Savage-Rumbaugh et al., 1990; Greenfield, Savage-Rumbaugh, 1991; Savage-Rumbaugh, Rumbaugh, 1993; см. главу 10 настоящей книги).

изошренная дрессировка психически высокоразвитого животного, способного усвоить достаточно сложные трюки, но никак не обучение языку.

³ По созвучию с именем классика лингвистики Ноама Хомского, твердого сторонника идеи о том, что язык свойственен только людям и обусловлен генетической уникальностью человека. Американцы, говоря о шимпанзе, часто пользуются сокращенным «chimp» (чимп).

Надо сказать, что итоги всей обширной серии «обезьяньих проектов» неодинаково оцениваются представителями разных дисциплин. Точку зрения профессиональных лингвистов высказал выдающийся специалист в этой области Стивен Пинкер. По его мнению, «обезьяны *не* «выучили» АЯЖ». На самом деле обезьяны вообще не выучили *никаких* знаков в строгом смысле этого слова. Один глухой человек, для которого этот язык является родным и который был в команде, работавшей с Уошо, позже описал свои впечатления от этих экспериментов. Каждый раз, – говорил он, – когда шимпанзе делал знак, мы должны были заносить его в журнал... Меня всегда укоряли за то, что в моем журнале было слишком мало знаков. У всех слышащих людей были журналы с длинными списками жестов. Они все время видели больше жестов, чем я... Но я действительно смотрел внимательно. Руки шимпанзе все время двигались. Может быть, я что-то пропустил, но я так не думаю. Я просто не видел никаких жестов. Слышащие люди записывали каждое движение, которое делал шимпанзе, как жест. Каждый раз, когда шимпанзе клал себе палец в рот, они говорили: «Ага, он делает жест *пить*», и давали ему молока... Когда шимпанзе чесывался, они записывали это как жест «*чесаться*»... Когда обезьяны чего-то хотели, они протягивали руку. Иногда наблюдатели говорили: «Потрясающе, посмотрите, это в точности знак АЯЖ, означающий *дай*». Но это было не так».

Пинкер продолжает: «Чтобы насчитать сотни слов обезьяньего словаря, исследователи также “переводили” указующее движение шимпанзе как жест *ты, объятия*, как знак *обнимать*; подбирание чего-либо с пола, щекотание и поцелуи как знаки *подбирать*, *щекотать* и *целоваться*. Зачастую одно и то же движение шимпанзе истолковывали как разные “слова”, в зависимости от того, каким, по мнению наблюдателей, могло быть соответствующее слово в данном контексте. В том эксперименте, где шимпанзе общались с компьютером, клавиша, которую шимпанзе должен был нажать, чтобы включить компьютер, была переведена как слово *пожалуйста*. По некоторым оценкам (Pettito, Seidenberg, 1979) при более строгих критериях истинное количество слов в лексиконе шимпанзе будет ближе к 25, чем к 125» (Пинкер, 2009).

Совершенно иначе видит результаты опытов с «говорящими обезьянами» психолог Майкл Томаселло. Он пишет: «Коммуникативные способности этих обезьян поистине удивительны в том смысле, что они учатся новым коммуникативным жестам и знакам и эффективно используют их с представителями другого биологического вида, и являют собой наиболее чистый и поразительный пример коммуникативной гибкости из когда-либо описанных [у животных]. Возможно, они даже пользуются последовательностями для более совершенной коммуникации, чем при использовании

только одноэлементных коммуникативных актов – т. е., обладают очень простой разновидностью грамматики. Это может говорить о том, что эти виды обезьян, фактически, обладают способностью к синтаксическому анализу – а именно, разложению смысловой ситуации (*conceptual situation*) на две различные составляющие, такие, как событие и его участник, что не слишком отличается от механизма грамматического анализа у человека. Возможно, что это различие событий и их участников происходит из умения подражать, которое более наглядно проявляется у обезьян, выращенных в неволе, чем у диких обезьян, и все же при этом лучше развито у детей» (Томаселло, 2008: 214).

В более нейтральных тонах выдержано мнение биолога Уильяма Т. Фитча. По его словам, «Опыты по обучению человекообразных обезьян языку полезны в практическом отношении для реконструкции когнитивных и коммуникативных возможностей нашего ближайшего общего предка с шимпанзе. Они помогли понять, во-первых, каковы были ограничения, преодоленные в ходе эволюции гоминид (например, вокальное научение), и, во-вторых, что представляли собой латентные качества, которые могли стать важными предпосылками становления языка» (Fitch, 2010: 164).

В любом случае, к началу XXI века стало совершенно очевидно, что одна из немногих, если не единственная осязаемая сфера реальности, изучение которой дает надежду получить хотя бы приблизительные ответы на вопрос о начальных этапах становления языка – это социальное и коммуникативное поведение наших ближайших родичей из числа человекообразных обезьян, именно шимпанзе (обыкновенного и бонобо).

Как мне кажется, именно рост интереса к этим феноменам в рамках продуктивного сравнительного подхода послужил важным стимулом к возрождению веры ученых в саму возможность реконструкции начальных этапов становления языка. Материалы, полученные во второй половине прошлого века в ходе исследований поведения шимпанзе и бонобо в поле и в лаборатории, стали одной из опор разнообразных гипотез относительно того, какой, в принципе, могла быть коммуникация ранних гоминид на той начальной стадии их эволюции, когда проходило становление так называемого протоязыка. Тема происхождения языка, поставленная вне закона в середине XIX века, внезапно оказалась в центре внимания целого содружества представителей гуманитарных и естественных дисциплин. Это обстоятельство отразилось в названиях множества публикаций, к числу которых следует отнести пионерский труд Дерекка Бикертон «Язык и виды» (Bickerton, 1990) и сборники статей «Подходы к эволюции языка» (Hurford et al., eds, 1998), «Эволюционное становление языка: социальная функция и

происхождение лингвистических форм» (Knight et al., eds, 2000), «Эволюция языка» (Christiansen et al., eds, 2003), а также недавние монографии Майкла Томаселло «Становление коммуникации у человека» (Tomastllo, 2008) и Уильяма Фитча «Эволюция языка» (Fitch, 2010).

Основная идея книги Бикертон состоит в следующем. Преемственность, будучи более чем очевидной в эволюции морфологических структур и неврологии при переходе от млекопитающих (и приматов, в частности) к человеку, резко прерывается в сфере коммуникативных возможностей. Именно это автор называет «парадоксом преемственности». Тем самым Бикертон отвергает предположение, согласно которому язык развился в эволюции из сигнальных систем животных. Кардинальный разрыв между коммуникацией у животных и системой языковых связей среди людей может оставаться не очевидным лишь для тех, кто не отдает себе отчета во всей необычайной сложности языка. Гипотеза Бикертон состоит в том, что язык сформировался преимущественно как способ репрезентации окружающего мира и лишь вторично приобрел коммуникативную функцию⁴. «До тех пор, – пишет он, – пока мы будем рассматривать язык в качестве системы, возникшей ради нужд коммуникации, нам не удастся уйти от парадокса преемственности» (Bickerton, 1990: 16).

Сходная точка зрения была детально аргументирована в моей книге «Знаки, символы, языки» (Панов, [2005] 2011). Она станет и главной темой настоящей работы.

Бикертон опирается в своих построениях на данные по когнитивным способностям животных, которые указывают на существование у них базовых концептов. По его мнению, эти концептуальные структуры, существующие миллионы лет, позволительно рассматриваться в качестве некой предтечи языка.

Будучи высказана в столь общей форме, эта идея едва ли может вызвать возражения. Однако ее полезность становится в высшей степени сомнительной, если ее детализировать таким образом, как это делает Фитч. «Вполне возможно, – пишет он, – что для каждой черты языка можно найти нечто сходное в поведении тех или иных видов, и все это оказалось удачным образом объединенным в нем». «Понятно», – продолжает он, – «что для понимания этого требуется тщательное рассмотрение сходства и различий между языком, с одной стороны, и *системами коммуникации и обработки информации (cognition) у животных*, с другой» (Fitch, 2010: 6; курсив мой – Е.П.).

Выделяя курсивом заключительный фрагмент этой цитаты, я хочу подчеркнуть, что ее автор неявно приравнивает друг другу категорию «естественной коммуникации

⁴ Близкой точки зрения придерживались очень многие теоретики, в частности наш соотечественник, выдающийся лингвист В.А. Звегинцев.

животных»⁵ и все то, что принято называть их «когнитивными способностями». Между тем, едва ли есть убедительные данные о существовании каких-либо очевидных корреляций между эффективностью коммуникации у разных видов и уровнями их психической конституции, если не считать ситуацию с *Homo sapiens*. Это свое утверждение я постараюсь аргументировать в дальнейшем на страницах этой книги.

Сказанное заставляет меня заострить внимание на анализе всей той системы взглядов на коммуникативное поведение животных, которую Фитч проводит в своей книге. Это фундаментальная сводка, предлагающая широкий междисциплинарный подход к анализу проблемы эволюции языка, именуемый автором «биолингвистикой». Фитч позиционирует себя в качестве специалиста по поведению животных, стоящего на принципах эволюционизма. Не удивительно поэтому, что он всячески акцентирует важность изучения сигнальных систем животных в попытках решения проблемы становления языка.

К сожалению, следует сказать, что глава 4 книги «Когнитивные способности и коммуникация животных» (62 с.) оказалась, на мой взгляд, наиболее слабой ее частью. Я рассматриваю ее как компиляцию, вобравшую в себя все те заблуждения в интерпретациях, против которых я систематически выступал на протяжении 45 лет моей деятельности в качестве профессионального этолога. Поэтому в дальнейшем я буду постоянно полемизировать с автором этой книги⁶.

По мнению Фитча, «Многие аспекты когнитивной сферы (такие как научение, память и категоризация) **напрямую связаны с овладением языком**. Все они представляют собой основной “набор инструментов”⁷, общих для большинства позвоночных и, по крайней мере, некоторых беспозвоночных» (курсив мой – *Е.П.*).

Однако при внимательном рассмотрении аргументации Фитча обнаруживается, что здесь имеет место неявная подмена понятий. Исходной посылкой всей этой аргументации служит тривиальный факт целесообразности поведения животных. Фитч повышает статус этого явления, называя его «бессознательным мышлением»⁸. Суть его, по Фитчу, в том, что животные многих видов (не только приматов) способны строить новую линию целесообразного поведения на основе объединения разных репрезентаций, полученных

⁵ Друг с другом в природной среде, а не в условиях обучения их «языкам посредникам»

⁶ Случилось так, что мне предложили перевести книгу Фитча на русский язык, и я согласился. Не исключено, что не будь у меня возможности основательно ознакомиться с ее текстом, я не взялся бы за написание книги, которую вы держите в руках.

⁷ По Фитчу, к их числу относятся: категоризация и научение, восприятие времени и планирование, умозаключения, способность к элементарному счету, соблюдение упорядоченности (serial order) в поведенческих последовательностях.

⁸ Отдавая себе отчет в неуклюжести этого словосочетания, Фитч предлагает для него эрзац: «когнитивная обработка информации (cognitive processing)». На мой взгляд, более удачен термин Л.В. Крушинского – «элементарная рассудочная деятельность», предложенный еще в 1960-х гг.

ранее на индивидуальном опыте (например, путем сопоставлений на основе принципа транзитивности). Здесь автор, по сути дела, ломится в открытую дверь. Для каждого, кто исследует поведение животных не по литературным источникам, а наблюдая за ними в природе, совершенно очевидно, что «для большинства из них понимание происходящего является... естественным состоянием» (Bluff et al., 2007: 20). Без этого ни одно животное попросту не смогло бы выжить и дня.

Под всем этим кроется некая логика, которая, возможно, не осознается явным образом даже самим Фитчем. Суть ее в следующем. Известно, что у человека язык неразрывно связан с мышлением. Но если животным свойственно мышление (пусть даже «бессознательное»), то это, якобы, позволяет искать у них и «скрытые потенции к использованию коммуникативных систем, подобных языку».

В этом-то и состоит неявная подмена понятий в аргументации Фитча. Она базируется на принципе ложных аналогий. Ведь совершенно очевидно, что понимание у животных имеет совершенно иные глубокие корни, нежели понимание у людей.

Кратко предваряя сказанное мной далее, хочу первым делом обратить внимание на следующее обстоятельство. Ясно, что Фитч находится в плену господствующей сегодня парадигмы, именуемой «когнитивной революцией». Ее суть изложена в программной, хотя и мало убедительной заметке под многозначительным названием «Почему животные когнитивны?» (да простит мне читатель буквальный перевод, необходимый для точной передачи всей нелепости поставленного вопроса). Ее авторы пишут: «Вообще говоря, подход на почве когнитивизма дает *единственную возможность оперировать научными методами* (scientifically) со всеми теми способностями животных, которые определяют их лабильные (flexible) и изощренные (sophisticated) формы поведения. [Эти последние] могут оказаться более широко распространенными, чем это часто выглядит с нашей, по необходимости антропоцентричной позиции»⁹ (Byrne, Bates, 2006; курсив мой – Е.П.).

Фитч не только ссылается с одобрением на эту заметку как на некое откровение¹⁰, но и приводит собственную развернутую аргументацию в пользу высказанных в ней

⁹ Дабы не перегружать основной текст цитированием других мест этого опуса, отмечу пренебрежительное отношение ее авторов ко всему тому, что было сделано до них в науках о поведении животных. «Таким образом, рассмотрение животных в качестве когнитивных систем не следует ограничить только лишь феноменами лабильного поведения, напоминающего наше с вами, оставив объяснения поведения более простых (simpler) организмов как обязанное “попросту” (“merely”) врожденным механизмам либо научению посредством ассоциаций». Хотелось задать авторам вопрос, где в профессиональной этологической литературе они нашли столь примитивные объяснения?

¹⁰ Той же чести удостоилась еще лишь одна публикация, именно книга Дональда Гриффина «Ведут ли себя животные осознанно?» (Griffin, 1976), о некоторых очевидных дефектах которой еще будет сказано ниже в соответствующем месте.

положений. В частности, обсуждая вопрос о применении правила Ллойда Моргана¹¹, которое по своей значимости в науках о поведении равносильно принципу бритвы Оккама (и может рассматриваться как его частное приложение), Фитч пишет: «Главная трудность в применении этого подхода состоит в опасности априорного ранжирования психологических механизмов по линейной шкале от “простого” к “сложному”. Должны ли объяснения неизменно начинаться со скепсиса в отношении когнитивных способностей, чтобы потом придти к убеждению в обратном? Является ли приобретенное знание о том, что есть боль, «более сложным», чем цепь бессознательных изменений в мозгу, ведущих к ее избеганию? Является ли «осознание себя» более либо менее сложным, чем запоминание синицами 10 тысяч укромных мест, где они прячут семечки про запас? Как только мы осознаем, что такого рода вопросы не имеют простых ответов, полезность правила Моргана при проведении экспериментов по выявлению когнитивных способностей существенно снижается».

Весь строй воззрений сторонников когнитивистской парадигмы диктуется отказом от правила Ллойда Могана (Панов, 2011). О том, к чему это неизбежно приводит, свидетельствует судьба гипотезы Нобелевского лауреата Карла фон Фриша относительно существования так называемого «языка танцев» у пчел. Как оказалось, Фитч остался в неведении относительно краха этой гипотезы, окончательно опровергнутой еще 20 лет назад (Wenner, Wells, 1990).

Венер и Уэллс показали, что танец не используется пчелами в качестве значимого коммуникативного сигнала. Поиски источников корма осуществляются ими по ольфакторным ориентирам, *как и у всех прочих летающих насекомых, которые разыскивают пропитание по запаху* (подробнее об этом см. см. ниже, 4.2). Печальная судьба гипотезы «языка танцев» обязана именно пренебрежению ее автором правилом Моргана. И в самом деле, предположение, согласно которому насекомые могут обладать системой референтных знаков, противоречит всем общим принципам эволюционных преобразований поведения в мире животных.

Обсуждая обширную литературу по коммуникации у животных, Фитч всячески пытается акцентировать рациональные аспекты в такого рода процессах. Его внимание направлено на все то, в чем он видит отдаленные предпосылки языковой способности людей. Он называет все это «*скрытыми возможностями животных к использованию коммуникативных систем, подобных языку*». В этой книге я попытаюсь показать на

¹¹ Оно гласит: Ни в коем случае не следует интерпретировать действие как результат проявления более высоких психических способностей; если есть возможность объяснить его как проявление способностей, отвечающих более низкой психологической шкале» (Morgan, 1903).

основе собственных и литературных данных, что в реальности таких систем не существует. Пропась между принципами организации *естественных* коммуникативных систем у всех изученных в этом плане животных (включая человекообразных обезьян) и языком людей настолько глубока, что не может быть и речи о какой-либо эволюционной преемственности между этими двумя феноменами.